

Фрагмент из романа

Monika Maron
Zwischenspiel

S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2013
ISBN 978-3-10-048821-3

C. 7-25

Моника Марон
Интермедия

Перевод Марии Зоркой



Восстановить в памяти этот сон я не сумела, но от него осталось гнетущее чувство, туманившее и разум, и даже бесцельный мой взгляд в окно, хотя связи между сновидением и явью я не ощущала. Всякая попытка вспомнить события того сна, выхватить из памяти хоть какой-нибудь обрывок, наоборот, отгоняла его в безнадежную даль. Тяготило только смутное недовольство, оставленное во мне необъяснимым ночным видением.

Возможно, этот сон был лишь предвестником наступившего дня, который я обвела в календаре черной рамкой, но не осмыслила, не представила реально. Только цветы я заказала заранее, белые розы с белой ленточкой: С ЛЮБОВЬЮ ОТ РУТ.

Пролившийся ночью дождь облачками пара поднимался над мостовыми, свет желтовато-серого неба укутывал, словно пеленой, дома и деревья.

Если верить прогнозу, сегодня без осадков, температура около двадцати градусов. Занявшись поисками подходящей одежды, я выбрала легкий темно-серый костюм и туфли на низком каблучке. Я хожу на похороны, только если нельзя не пойти и если я думаю, что покойника обидит мое отсутствие. Я не верю в жизнь после смерти, но все равно представляю себе, как умерший, таинственным образом присутствуя на своих похоронах и вдруг не отыскав меня среди детей, внуков и друзей, может задним числом усомниться в моем добром к нему отношении. Долго я размышляла, надо ли идти на похороны Ольги, но в итоге именно это мелкое и смехотворное подозрение заставило меня решиться.

В последнее время мы с Ольгой говорили только по телефону. Собиралась я зайти к ней, наконец, во вторник после Пасхи, но Ольга сама позвонила мне и сказала, что неважно себя чувствует и лучше отложить нашу встречу. А теперь вот она умерла. Гугловская карта подсказала мне маршрут до кладбища на восточной окраине города, я еще раз прочитала извещение о смерти. Какое счастье, что они не написали «внезапно и неожиданно», – подумала я. Кому почти девяносто, тот неожиданно не умирает. Правда, именно этой смерти

никто не ждал, мы все-таки договаривались встретиться во вторник после Пасхи, просто Ольга плохо себя чувствовала. Но если кому-то плохо в девяносто лет, то это может означать и конец. Как же я не додумалась.

За завтраком я читала вчерашнюю газету. Я всегда читаю газеты за вчерашний день, потому что сначала завтракаю, а уж потом принимаю душ и одеваюсь, я не хочу в халате ездить с пятого этажа на первый к почтовому ящику, а потом назад, к тому же свежие новости я узнаю все равно не из газет, а по радио или по телевизору, так что мне все равно, какую газету читать – вчерашнюю или сегодняшнюю. Раньше мне от утреннего подъема до выхода из дому требовалось полтора часа, теперь два с половиной. Мне надо встать в шесть часов, чтобы в девять, как положено, прийти на работу в музей. Похороны Ольги назначены на одиннадцать. Но от этого сна я пробудилась в шесть, как всегда, и будильник еще не прозвонил. О, этот сон... Вроде бы вот он, совсем рядом, но это лишь ощущение, никаких картинок, дальше – ничто. Наверное, мне снилась смерть, – подумала я, – этакая пустая тьма может быть только смертью.

Пробегаю глазами заголовки на газетной полосе «о разном», а там написано: «Искусственное преддыхание останавливают». Думаю, что бы это значило: «преддыхание»? Читаю снова: «Искусственное преддыхание...» Так, ладно. А кто-то выбросил младенца из окна, именно так, я ничего не перепутала. Обнаружив в литературном разделе подробный отчет о судебном процессе над фальсификатором картин, я бросила читать его уже после первого абзаца, потому что строчки расплывались у меня перед глазами, а буквы словно отбрасывали тень. Протерла очки, села ближе к окну, но ничего не помогало, неведомый мне доселе дефект зрения заставлял меня так напрягаться при чтении, что голова закружилась. «Это, похоже, сосуды», – подумала я, вырвала страницу из газеты и отложила ее на потом. Нервничала. Уже почти двадцать лет я не виделась ни с кем из семьи, кроме Ольги, не виделась и с Бернхардом, то есть – именно с Бернхардом не виделась.

Лет пять-шесть назад Фанни сообщила мне, что была у Бернхарда. Не раздумывая, я спросила: «И зачем тебе это нужно?» Фанни высоко подняла брови, готовясь к отпору, вытянула тоненькую шейку и ответила: «Он ведь мой отец». С тех пор я никогда не задавала дочери вопросов о Бернхарде. Смирилась с тем, что отец для Фанни важнее, чем его предательство. Какое мое дело? Мое это дело, конечно, ведь Бернхард – отец Фанни только из-за меня. Но было это в той, в другой жизни, какую я почти и не помню. Из той жизни у меня остались только Ольга и Фанни. Мать Бернхарда и дочь Бернхарда, но его самого я позабыла. Помню, что прожила с ним три года, еще хорошо помню нашу квартиру, две больших светлых комнаты в развалюхе на Вёртер-Штрассе, еще помню, как тогда выглядел Бернхард и как он играл на гитаре, но не больше не помню ничего. Бернхард занимает свое место в архиве моей памяти, но он завален более поздними материалами, а и те завалены позднейшими материалами, он – мертвое и холодное воспоминание без цвета и запаха. Тот факт, что Бернхард – отец моего единственного ребенка, меня нисколько не волновал, я придавала ему значение лишь в том смысле, что вдруг да понадобится пересадка костного мозга или трансплантация органов. Расставшись с Бернхардом, я никогда не требовала от него ни денег, ни ответственности за Фанни. Уж если я решила жить с ребенком без отца, так сама должна и заботиться об этом ребенке. Во всяком случае, именно так я объясняла себе и окружающим свою позицию.

Вот уже неделя, как я узнала, что увижу Бернхарда у могилы Ольги, и за решеткой моих запретных воспоминаний возникли волнения. Нежданно-непрощено появилась картинка: Анди с забинтованной головой, он разбился, врезавшись на велосипеде в радиатор грузовика. Черепно-мозговая травма, поражение лобной доли головного мозга. С невидящим взглядом лежал он в кроватке, в тыльной части ладони торчит игла, через нее поступает в его тельце питательный раствор.

Анди – сын Бернхарда, вскоре после окончания школы сына родила ему официантка. Была она на три года старше, а к тому же писала стихи. Анди рос у матери, та регулярно приводила мальчика на выходные дни к Бернхарду, а тот еще жил тогда с родителями. Для Ольги этот мальчик стал третьим и неожиданным сыном. Мадлен, так звали мать, все чаще оставляла его у Ольги и посреди недели, а потом однажды попросту не забрала, и ее несколько дней не могли найти. Через неделю она позвонила с сообщением, что находится в Западном Берлине и больше ей сказать нечего, ей ужасно жаль, но Анди будет лучше у Ольги и Бернхарда. Мальчик остался там и после того, как Бернхард получил собственную квартиру. Позже, когда мы с Бернхардом съехались, Анди решил по-прежнему жить у бабушки с дедушкой. Герман тогда был еще жив.

После того несчастного случая Ольга поселилась у Анди в больнице, кормила, купала, читала вслух. Когда он вышел из комы, Ольга заново учила его ходить и говорить, массировала сведенные судорогой руки, выведав все необходимые приемы у физиотерапевта, делала с ним вместе гимнастику. Четыре месяца подряд возвращала она к жизни своего внука. И вернула его домой – исхудавшая, изможденная.

Фанни не исполнилось и полгода, когда Бернхард объявил, что Анди отныне будет жить с нами: никогда ему не стать таким, как до аварии, а матери с этим не справиться. Мы подали заявку в жилищное управление на более просторную квартиру, но нам объяснили, что неженатые пары не могут претендовать на совместную жилплощадь. Назначили регистрацию в загсе: через четыре недели.

А за две недели до регистрации меня пригласили на вечеринку с наркотиками. Один тип из Западного Берлина провез через границу гашиш, человек на десять, и предлагал покурить, пройти вводный курс. Показывал, как правильно держать сигарету, еще привез подходящие записи, музыку, уж не помню, какую. Мы улеглись рядком на подушки и одеяла, безмятежно отдавшись дури. И вот постепенно пропали и комната, и люди вокруг, и только музыка заполняла

пространство, а я увидела вдали нечто вроде лавины грандиозных размеров, увидела белое, окутанное снежной пылью чудище, которое молча несется прямо на меня, властно, жадно склоняется надо мною и вот-вот проглотит. Свет еще не включили, эксперимент еще не объявили завершенным, а я уже догадалась: я видела то самое, что предчувствовала в последнее время и в чем не решалась себе признаться, на меня надвигается нечто страшное, оно погребет меня под собой или проглотит, и я боюсь, и надо бежать немедленно.

Бернхард был в командировке не то в Саксонии, не то в Тюрингии. На другое утро я позвонила в загс и отменила бракосочетание. «Перенести или отменить?» – спросили в загсе. «Отменяется!» – ответила я.

Когда мы с Фанни уехали, шрам на лбу Анди уже прикрывали волосы. Но в моих воспоминаниях он все так и лежит молча на больничной койке, и разбитую его голову покрывает плотная повязка, видны только глаза, нос и рот, – шестилетний мальчик, от которого я сбежала.

У Ольгиной могилы я увижу, наверное, и Анди – ему сейчас сорок один, он на шесть лет старше Фанни. Последний раз я видела его, когда Ольге исполнилось шестьдесят пять. Он сидел рядом с Ольгой, голова набок, словно он не может держать ее по центру, говорит мало, только вот когда ему захотелось еще кусок торта, он громогласно заявил об этом, а так, вроде, совсем интересовался происходящим вокруг. Но если мне случалось о нем вспомнить, а бывало такое редко, в тайниках моих воспоминаний он молча сидел с перевязанной белым бинтом головой.

Тогда я казалась себе чудовищем: само бессердечие, подлость и низость. Оставить человека с больным ребенком! Просто сбежать с другим, общим ребенком! Не удалось мне уйти от судьбы, высокомерно задрав нос. И уж не вспомнить теперь, как я объясняла Бернхарду отмену свадьбы, как вообще я ему сообщила, что не намерена нести ответственность за его сына, который требует заботы больше, чем Фанни, а ведь я мать Фанни и только Фанни, и его,

Бернхарда, я люблю не настолько, чтобы стать матерью и для его сына. Но, надо полагать, как-то я объяснилась. Тяжело мне представлять эту сцену с участием моего Я. Мол, не хочу я такой жизни, которую мне навязывают. Мол, у меня другие планы относительно себя и ребенка. Уйду и не обернусь. Так оно было, наверное. Я это сделала. Но мне кажется, что это сделала не я, а та Рут, которой больше нет, вину которой искупил ее уход и которой я теперь должна быть благодарна за ее отвагу и бессердечие.

Год назад мне исполнилось шестьдесят. Все близкие мои друзья живы, но в широком кругу знакомых насчитывается немало смертей. Пока еще я не считаю нужным подводить жизненные итоги, но в такие дни, как сегодня, мои смущенные роковым сном мысли невольно будоражат эти бессмысленные зачем и почему. Что вообще такое Я? – думается мне. – Ведь твое сегодняшнее Я настолько чуждо прошлому Я, что они будто и вовсе не связаны. Куда вообще деваются эти Я, из которых человек состоял на протяжении всей жизни и которым он обязан своим последним Я? Сложность состоит в том, что человек покидает этот мир не тем, кем он в этот мир явился, – думалось мне. Но эту мысль я тут же опровергла вопросом: а не является ли тот ребенок, каким я ранее была, самым близким из всех моих Я, существовавших доныне? Я помню прекрасно того ребенка, помню лучше, чем все мои последующие Я, хотя по времени он от меня дальше всех. Страх перед темным подъездом, когда свет не включился, счастье, когда впервые оказываешься в цирке, горе из-за неверной подружки, запахи из окон во дворе, шерстка собачки под рукой, – вот оно, тепло воспоминаний. Ребенок – это наш первообраз, подобно тому, как первобытный человек есть прообраз человека, это наше твердое ядро в стволе мозга, в гипоталамусе, в лимбической системе. Мы позабыли человека каменного и бронзового веков, об античности и ренессансе нам известно только то, что нами прочитано, но первобытного человека нам не забыть никогда: он в нас живет. Как ребенок. Эта мысль мне понравилась. Наверное, переходя в другое Я, мы забываем Я предыдущее и сохраняем его лишь в виде сухих дат и

фактов, забывая все остальное, чтобы не сойти бы с ума. Может, все эти странные истории множественных личностей, которыми несколько лет назад кишело американское кино, может – это все истории про людей, которые не могли освободиться от своего Я, которые слышали внутри разные голоса наперебой. Вот даже шизофрения, самый обычный пример, – а нет ли смысла подумать о том, что это лишь несчастная и вынужденная попытка сохранения своего прежнего Я?

Телефонный звонок прервал мои антропологические размышления. Фанни предлагала поехать на кладбище вместе. Я отказалась:

– Потом у меня важная встреча, хочу сама быть за рулем.

Договорились встретиться у входа на кладбище. Никакой у меня не было встречи, но не хотелось зависеть от Фанни, которая после похорон уж точно отправится вместе с семьей обедать или пить кофе.

У матери тоже не менее двух Я, – подумалось мне, – а то даже три или четыре. Четвертое мне пока незнакомо. Вначале это чудо – пусть и самое обыкновенное на свете чудо, которое известно любой мышке, любой кошке, вообще любому млекопитающему при условии принадлежности к женскому полу. Внутри меня биологически объяснимым, но все же непостижимым образом разрастается нечто, еще сегодня принадлежавшее мне с моим огромным животом, а завтра ставшее отдельным человеком. Обсуждать это – пустое дело, потому что каждый день и во всем мире такое происходит слишком часто, причем уже тысячи лет. И все-таки это чудо, по крайней мере для тех, кто это пережил. Первое материнское Я воплощается в чистом и с каждым днем все более полном счастье, ибо объект любви вместе с растущим осознанием такового вырастает до божества, до источника счастья вообще. А кто является неизменным источником счастьем для другого, тот не задается вопросом о смысле собственного бытия, он, в данном случае – она, обретает этот смысл лет на десять или на одиннадцать вперед, пока не начнет понимать, что мать располагает лишь крошечную частицей мирового счастья, что некоторому счастью она даже становится поперек дороги. Может, ребенок даже

подумывает, не было бы ему лучше с другой матерью. И постепенно создает личное пространство, свободное от матери. К счастью для детей, низвергнутые матери в большинстве своем спасаются бегством в двойную жизнь. В воспоминаниях они продолжают жить своим материнским Я, подпитывают им свои силы, чтобы побороть неудачи, обиды и обвинительные приговоры последующих десятилетий. Многие из них заводят себе собачек.

Может, с отцами происходит то же самое, но я в отцах не разбираюсь, я росла без отца, то есть с отцом, но недолго. Мой отец умер, когда мне было четыре года. Он вернулся из русского плена с продырявленным легким, из последних сил зачал ребенка, а потом еще пять лет сидел в зеленом кресле у окна в гостиной, каждым своим вдохом-выдохом борясь за жизнь. Помню того хрипящего человека в кресле, чужого и неприкосновенного, а больше ничего – ни улыбки, ни игры, ни песенки. У него уж никаких сил не было, – так мама говорила. Еще пять лет после смерти отца мы прожили с мамой вдвоем. В это самое время я помню себя безмятежным и радостным ребенком: прогулки с мамиными подружками, да с их детишками, вечера, когда мама читает мне вслух, хотя я уже умею читать сама, или как мы в процессе мытья посуды распеваем дурацкие песенки: «А если горшок прохудился, а если горшок прохудился, милый Генрих, милый Генрих...» Однако матери этого полного счастья не хватало, она решила в нашу совместную жизнь привести чужого мужчину, чтобы и самой стать счастливой, а мне это показалось тогда изгнанием из рая. Мне было десять лет, когда к нам вселился товарищ Келлер с какими-то коробками и двумя-тремя бесформенными креслами, мне было восемнадцать лет и десять дней, когда я выехала от них с двумя чемоданами и своим постельным бельем.

Мама предупредила естественный конец полного счастья. Но именно он, товарищ Келлер! Вот что осталось незаживающей раной в отношениях матери и дочери, хотя после мы никогда о нем не говорили. Даже если она излагала другим присутствующим свою жизнь в эпизодах, не упуская при этом упоминания о товарище

Келлере, имя его она произносила как бы между прочим, как бы надеясь, что дочка его не расслышит.

Мне было уже за сорок, когда я окончательно прекратила задавать матери все те же вопросы. Вспоминается мне одно воскресенье, вроде бы зимой, к вечеру. Сквозь окно проникает последний сумеречный свет. Торшер у дивана освещает задумчивое лицо матери. После обеда по воскресеньям товарищ Келлер имел обыкновение прилечь, спал часа по два, а то и по три. С тех пор, как я выехала, только эти часы принадлежали нам. Фанни тоже уснула, наконец. Пили мы кофе, к нему по два-три глоточка коньяка, я рассказала про выставку Шагала, которую как раз готовила, а мама – про давнюю склоку с Доро, ее начальницей в агентстве печати. – И как ей вообще удастся работать при этой стопудовой сталинистке, – вот был мой вопрос, на что мама ответила, мол, Доро весит сто пудов, но к ее политическим убеждениям это отношения не имеет, тем более, что таковые не столь уж и отличны от ее собственных, и что Доро вовсе не сталинистка, а коммунист, переживший сложные времена, и это порой оправдывает ее непредсказуемые поступки.

Я же была убеждена, что моя мама, не полюби она именно партийного секретаря Эдуарда Келлера, не вынесла бы и месяца под командой Доро, да и вообще работала бы не в этом печатном агентстве, а уж скорее в журнале «Собаководство» или в кулинарном издательстве, где ей дозволено бы было сохранить ясность ума.

Ну, я тогда и ответила, что она высказывается точно как товарищ Келлер, который разделяет убеждения Доро и тоже пережил сложные времена, что оправдывает его ограниченность и косность. В жизни я не пойму, как можно полюбить такого человека. – А и не надо тебе понимать, – ответила мама. А я ей на это, мол, мне же пришлось с ним жить и вдобавок наблюдать, как моя родная мать подчиняется этому неотесанному чурбану, будто посланнику свыше, как она приняла к сердцу весь политический бред товарища Келлера, да еще и допустила, что мне, ее дочери, замусорили башку этой идеологией. И

как вообще она могла позволить, чтобы ее единственная дочь утратила родительский дом ради товарища Келлера.

Мама, сидя на диване и скрестив руки, устало сказала: «Не надо преувеличивать». На что я, как обычно после таких разговоров, залилась слезами.

Эту и другие похожие сцены из моей дочерней жизни я помню во всей точности. Рассказывая кому-нибудь, что я, уже совсем взрослая, все плакала о том, что моя мама несколько десятилетий назад привела в дом не того мужчину, я сама начинала смеяться. Но то горе – горе детское и безутешное, а я ведь и была ребенком. Шесть лет назад моя мать умерла, и боль моя, лишившись главной виновницы, стихла и превратилась в воспоминание. Так оно было, именно так, и что ж теперь?..